Придя к себе, Ромашов, как был, в пальто, не сняв даже шашки, лег на кровать и долго лежал, не двигаясь, тупо и пристально глядя в потолок. У него болела голова и ломило спину, а в душе была такая пустота, точно там никогда не рождалось ни мыслей, ни воспоминаний, ни чувств; не ощущалось даже ни раздражения, ни скуки, а просто лежало что-то большое, темное и равнодушное.

За окном мягко гасли грустные и нежные зеленоватые апрельские сумерки. В сенях тихо возился денщик, осторожно гремя чем-то металлическим.

«Вот странно, — говорил про себя Ромашов, — где-то я читал, что человек не может ни одной секунды не думать. А я вот лежу и ни о чем не думаю. Так ли это? Нет, я сейчас думал о том, что ничего не думаю, — значит, все-таки какое-то колесо в мозгу вертелось. И вот сейчас опять проверяю себя, стало быть, опять-таки думаю…»

И он до тех пор разбирался в этих нудных, запутанных мыслях, пока ему вдруг не стало почти физически противно: как будто у него под черепом расплылась серая, грязная паутина, от которой никак нельзя было освободиться. Он поднял голову с подушки и крикнул:

— Гайнан!..

В сенях что-то грохнуло и покатилось — должно быть, самоварная труба. В комнату ворвался денщик, так быстро и с таким шумом отворив и затворив дверь, точно за ним гнались сзади.

— Я, ваше благородие! — крикнул Гайнан испуганным голосом.

— От поручика Николаева никто не был?

— Никак нет, ваше благородие! — крикнул Гайнан.

Между офицером и денщиком давно уже установились простые, доверчивые, даже несколько любовно-фамильярные отношения. Но когда дело доходило до казенных официальных ответов, вроде «точно так», «никак нет», «здравия желаю», «не могу знать», то Гайнан невольно выкрикивал их тем деревянным, сдавленным, бессмысленным криком, каким всегда говорят солдаты с офицерами в строю. Это была бессознательная привычка, которая въелась в него с первых дней его новобранства и, вероятно, засела на всю жизнь.

Гайнан был родом черемис, а по религии — идолопоклонник. Последнее обстоятельство почему-то очень льстило Ромашову. В полку между молодыми офицерами была распространена довольно наивная, мальчишеская, смехотворная игра: обучать денщиков разным диковинным, необыкновенным вещам. Веткин, например, когда к нему приходили в гости товарищи, обыкновенно спрашивал своего денщика-молдаванина: «А что, Бузескул, осталось у нас в погребе еще шампанское?» Бузескул отвечал на это совершенно серьезно: «Никак нет, ваше благородие, вчера изволили выпить последнюю дюжину». Другой офицер, подпоручик Епифанов, любил задавать своему денщику мудреные, пожалуй, вряд ли ему самому понятные вопросы. «Какого ты мнения, друг мой, — спрашивал он, — о реставрации монархического начала в современной Франции?» И денщик, не сморгнув, отвечал: «Точно так, ваше благородие, это выходит очень хорошо». Поручик Бобетинский учил денщика катехизису, и тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные от всего вопросы: «Почему сие важно в-третьих?» — «Сие в-третьих не важно», или: «Какого мнения о сем святая церковь?» — «Святая церковь о сем умалчивает». У него же денщик декламировал с нелепыми трагическими жестами монолог Пимена из «Бориса Годунова». Распространена была также манера заставлять денщиков говорить по-французски: бонжур, мусье; бонн нюит, мусье; вуле ву дюте, мусье, — и все в том же роде, что придумывалось, как оттяжка, от скуки, от узости замкнутой жизни, от отсутствия других интересов, кроме служебных.

Ромашов часто разговаривал с Гайнаном о его богах, о которых, впрочем, сам черемис имел довольно темные и скудные понятия, а также, в особенности, о том, как он принимал присягу на верность престолу и родине. А принимал он присягу действительно весьма оригинально. В то время когда формулу присяги читал православным — священник, католикам — ксендз, евреям — раввин, протестантам, за неимением пастора — штабс-капитан Диц, а магометанам — поручик Бек-Агамалов, — с Гайнаном была совсем особая история. Подковой адъютант поднес поочередно ему и двум его землякам и единоверцам по куску хлеба с солью на острие шашки, и те, не касаясь хлеба руками, взяли его ртом и тут же съели. Символический смысл этого обряда, был, кажется, таков: вот я съел хлеб и соль на службе у нового хозяина, — пусть же меня покарает железо, если я буду неверен. Гайнан, по-видимому, несколько гордился этим исключительным обрядом и охотно о нем вспоминал. А так как с каждым новым разом он вносил в свой рассказ все новые и новые подробности, то в конце концов у него получилась какая-то фантастическая, невероятно нелепая и вправду смешная сказка, весьма занимавшая Ромашова и приходивших к нему подпоручиков.

— Гайнан и теперь думал, что поручик сейчас же начнет с ним привычный разговор о богах и о присяге, и потому стоял и хитро улыбался в ожидании. Но Ромашов сказал вяло:

— Ну, хорошо… ступай себе…

— Суртук тебе новый приготовить, ваше благородие? — заботливо спросил Гайнан.

Ромашов молчал и колебался. Ему хотелось сказать — да… потом — нет, потом опять — да. Он глубоко, по-детски, в несколько приемов, вздохнул и ответил уныло:

— Нет уж, Гайнан… зачем уж… бог с ним… Давай, братец, самовар, да потом сбегаешь в собрание за ужином. Что уж!

«Сегодня нарочно не пойду, — упрямо, но бессильно подумал он. — Невозможно каждый день надоедать людям, да и… вовсе мне там, кажется, не рады».

В уме это решение казалось твердым, но где-то глубоко и потаенно в душе, почти не проникая в сознание, копошилась уверенность, что он сегодня, как и вчера, как делал это почти ежедневно в последние три месяца, все-таки пойдет к Николаевым. Каждый день, уходя от них в двенадцать часов ночи, он, со стыдом и раздражением на собственную бесхарактерность, давал себе честное слово пропустить неделю или две, а то и вовсе перестать ходить к ним. И пока он шел к себе, пока ложился в постель, пока засыпал, он верил тому, что ему будет легко сдержать свое слово. Но проходила ночь, медленно и противно влачился день, наступал вечер, и его опять неудержимо тянуло в этот чистый, светлый дом, в уютные комнаты, к этим спокойным и веселым людям и, главное, к сладостному обаянию женской красоты, ласки и кокетства.

Ромашов сел на кровати. Становилось темно, но он еще хорошо видел всю свою комнату. О, как надоело ему видеть каждый день все те же убогие немногочисленные предметы его «обстановки». Лампа с розовым колпаком-тюльпаном на крошечном письменном столе, рядом с круглым, торопливо стучащим будильником и чернильницей в виде мопса; на стене вдоль кровати войлочный ковер с изображением тигра и верхового арапа с копьем; жиденькая этажерка с книгами в одном углу, а в другом фантастический силуэт виолончельного футляра; над единственным окном соломенная штора, свернутая в трубку; около двери простыня, закрывающая вешалку с платьем. У каждого холостого офицера, у каждого подпрапорщика были неизменно точно такие же вещи, за исключением, впрочем, виолончели; ее Ромашов взял из полкового оркестра, где она была совсем не нужна, но, не выучив даже мажорной гаммы, забросил и ее и музыку еще год тому назад.

Год тому назад с небольшим Ромашов, только что выйдя из военного училища, с наслаждением и гордостью обзаводился этими пошлыми предметами. Конечно — своя квартира, собственные вещи, возможность покупать, выбирать по своему усмотрению, устраиваться по своему вкусу — все это наполняло самолюбивым восторгом душу двадцатилетнего мальчика, вчера только сидевшего на ученической скамейке и ходившего к чаю и завтраку в строю, вместе с товарищами. И как много было надежд и планов в то время, когда покупались эти жалкие предметы роскоши!.. Какая строгая программа жизни намечалась! В первые два года — основательное знакомство с классической литературой, систематическое изучение французского и немецкого языков, занятия музыкой. В последний год — подготовка к академии. Необходимо было следить за общественной жизнью, за литературой и наукой, и для этого Ромашов подписался на газету и на ежемесячный популярный журнал. Для самообразования были приобретены: «Психология» Вундта, «Физиология» Льюиса, «Самодеятельность» Смайльса…

И вот книги лежат уже девять месяцев на этажерке, и Гайнан забывает сметать с них пыль, газеты с неразорванными бандеролями валяются под письменным столом, журнал больше не высылают за невзнос очередной полугодовой платы, а сам подпоручик Ромашов пьет много водки в собрании, имеет длинную, грязную и скучную связь с полковой дамой, с которой вместе обманывает ее чахоточного и ревнивого мужа, играет в штосе и все чаще и чаще тяготится и службой, и товарищами, и собственной жизнью.

— Виноват, ваше благородие! — крикнул денщик, внезапно с грохотом выскочив из сеней. Но тотчас же он заговорил совершенно другим, простым и добродушным тоном: — Забыл сказать. Тебе от барыни Петерсон письма пришла. Денщик принес, велел тебе ответ писать.

Ромашов, поморщившись, разорвал длинный, узкий розовый конверт, на углу которого летел голубь с письмом в клюве.

— Зажги лампу, Гайнан, — приказал он денщику.

«Милый, дорогой, усатенький Жоржик, — читал Ромашов хорошо знакомые ему, катящиеся вниз, неряшливые строки. — Ты не был у нас вот уже целую неделю, и я так за тобой скучилась, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно, что если ты хочешь с меня смеяться, то я этой измены не перенесу. Один глоток с пузырька с морфием, и я перестану навек страдать, а тебя сгрызет совесть. Приходи непременно сегодня в 7 1/2 часов вечера. Его не будет дома, он будет на тактических занятиях, и я тебя крепко, крепко, крепко расцелую, как только смогу. Приходи же. Целую тебя 1.000.000.000… раз.

Вся твоя *Раиса* .

P.S. Помнишь ли, милая, ветки могучие

Ивы над этой рекой,

Ты мне дарила лобзания жгучие,

Их разделял я с тобой.

P.P.S. Вы непременно, непременно должны быть в собрании на вечере в следующую субботу. Я вас заранее приглашаю на 3-ю кадриль. По значению!!!!!!

Д.Р.»

И наконец в самом низу четвертой страницы было изображено следующее:

###### *»Я*

###### *здесь*

###### *поцеловала* ».

От письма пахло знакомыми духами — персидской сиренью; капли этих духов желтыми пятнами засохли кое-где на бумаге, и под ними многие буквы расплылись в разные стороны. Этот приторный запах, вместе с пошло-игривым тоном письма, вместе с выплывшим в воображении рыжеволосым, маленьким, лживым лицом, вдруг поднял в Ромашове нестерпимое отвращение. Он со злобным наслаждением разорвал письмо пополам, потом сложил и разорвал на четыре части, и еще, и еще, и когда, наконец, рукам стало трудно рвать, бросил клочки под стол, крепко стиснув и оскалив зубы. И все-таки Ромашов в эту секунду успел по своей привычке подумать о самом себе картинно в третьем лице:

«И он рассмеялся горьким, презрительным смехом».

Вместе с тем он сейчас же понял, что непременно пойдет к Николаевым. «Но это уж в самый, самый последний раз!» — пробовал он обмануть самого себя. И ему сразу стало весело и спокойно:

— Гайнан, одеваться!

Он с нетерпением умылся, надел новый сюртук, надушил чистый носовой платок цветочным одеколоном. Но когда он, уже совсем одетый, собрался выходить, его неожиданно остановил Гайнан.

— Ваше благородие! — сказал черемис необычным мягким и просительным тоном и вдруг затанцевал на месте. Он всегда так танцевал, когда сильно волновался или смущался чем-нибудь: выдвигал то одно, то другое колено вперед, поводил плечами, вытягивал и прямил шею и нервно шевелил пальцами опущенных рук.

— Что тебе еще?

— Ваше благородие, хочу тебе, поджаласта, очеяь попросить. Подари мне белый господин.

— Что такое? Какой белый господин?

— А который велел выбросить. Вот этот, вот…

Он показал пальцем за печку, где стоял на полу бюст Пушкина, приобретенный как-то Ромашовым у захожего разносчика. Этот бюст, кстати, изображавший, несмотря на надпись на нем, старого еврейского маклера, а не великого русского поэта, был так уродливо сработан, так засижен мухами и так намозолил Ромашову глаза, что он действительно приказал на днях Гайнану выбросить его на двор.

— Зачем он тебе? — спросил подпоручик смеясь. — Да бери, сделай милость, бери. Я очень рад. Мне не нужно. Только зачем тебе?

Гайнан молчал и переминался с ноги на ногу.

— Ну, да ладно, бог с тобой, — сказал Ромашов. — Только ты знаешь, кто это?

Гайнан ласково и смущенно улыбнулся и затанцевал пуще прежнего.

— Я не знай… — И утер рукавом губы.

— Не знаешь — так знай. Это — Пушкин. Александр Сергеич Пушкин. Понял? Повтори за мной: Александр Сергеич…

— Бесиев, — повторил решительно Гайнан.

— Бесиев? Ну, пусть будет Бесиев, — согласился Ромашов. — Однако я ушел. Если придут от Петерсонов, скажешь, что подпоручик ушел, а куда — неизвестно. Понял? А если что-нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Николаева. Прощай, старина!.. Возьми из собрания мой ужин, и можешь его съесть.

Он дружелюбно хлопнул по плечу черемиса, который в ответ молча улыбнулся ему широко, радостно и фамильярно.